

Мобила для старой Катерины

Рассказы, в которых радость
всегда сильнее, чем отчаяние



По внешним признакам творчество Бориса Екимова лежит в русле так называемой «деревенской прозы», но, на наш взгляд, это подлинно христианская проза, причем он всегда писал так — и в советское время, и после, — избегая при этом излишней политизированности, без которой не смогли обойтись иные писатели-«деревенщики». Недавно в издательстве «Никея» вышел сборник рассказов Екимова «Возвращение». С разрешения издательства мы публикуем два рассказа из этой книги.

БОРИС ПЕТРОВИЧ ЕКИМОВ



Родился в 1938 году в Красноярском крае. Работал токарем, слесарем, электромонтером, учителем труда в школе. Публиковаться как прозаик начал в 1965 году и с тех пор написал более 200 произведений. Постоянный автор литературных журналов «Новый мир», «Знамя», «Наш современник». В 2008 году он стал лауреатом премии Солженицына. Живет в Волгограде и в городе Калач-на-Дону, пишет о жизни простых людей, чаще всего земляков-дончан.



Белая дорога

Вот и осень. Ночи стали холодными. Пора с летом прощаться, собираясь в город, на зимние квартиры.

В последнее воскресенье августа поехали мы к озеру Некрасово. Дорога туда не больно длинная, но без асфальта: колдобины, объезды, а потом и вовсе сыпучие пески.

Редкая машина пройдет.

Добрались. Молодые мои спутники остались у воды, с удочками. Я ушел в Пйски. Пйски их у нас называют, хотя правильней, конечно, Пески.

Огромные песчаные пустоши тянутся левым берегом Дона на многие десятки верст. Они порой отступают от берега, порой подходят к воде. Песчаная страна, считай, пустыня; желтые бугры — кучугуры, редкая зелень: солянка, молочай, желтый бессмертник, ползучий чабер. Вечный ветер. Свистит и свистит. Безлюдье на десятки верст. Машины сюда не забираются. И делать нечего, и застрянешь в песках. Редкий жаворонок вспорхнет из-под ног; редкий коршун проплывет в вышине; ящерка прошуршит — и все. Тишина. И просторное небо.

Люди здесь тоже редки. Но порой встречаются белые дороги, неведомо кем проложенные в сыпучих песках... Эти белые дороги завораживают. Будто и знаешь округу: там — Рюминский хутор, в той стороне — Старая Сокаревка, за ней — Песковатка. Но к хуторам ведут дороги проезжие. А эти? Белая колея петляет меж песчаных холмов, порою взбегая на них. Кто ее проторил, эту дорогу, и куда?..

Нынче лето кончается. Солнечный день. Но взойдешь на бугор — ниже до костей ветер. Под ногами похрустывает сухой молочай; кое-где доцветает сиреневый чабер; трава «бескоренка» — черная, словно мороз ее опалил. Коршун поднялся и стоит в воздухе, крылом не махнет. Ветер. Белая дорога ведет куда-то.

Вспомнил о Степе. О нем и рассказ. Где-то здесь, в этих песках, он умер. Шел и шел белой дорогой. Потом лег ли, а может, упал и умер.

Степу я, конечно, не знал. Он жил задолго до моего рождения. Сталась память, рассказы. Мой нынешний — один из них.

В округе станицы Голубинской, что на среднем Дону, на всех ее хуторах, далеких и близких: в Усурах, Липолебедевском, Каменнобродском, Тепленьком, Липологовском — Степу-глухого знал каждый, от старого до малого. Степа чинил обувь. Годы были тяжкие — двадцать первый да двадцать второй: голод, разруха, только что война прошла.

О новой обуви в ту пору никто не помышлял. Перебивались ношеным старьем. И Степа-глухой был спасеньем для всякой семьи, даром Божьим. Во-первых, он брался чинить всякую рвань, ничего не отвергая. Лишь сокрушенно побряхтывал да головой качал и лепил латку к латке. А во-вторых, он не требовал за труды свои плату, работая лишь за харчи.

Откуда он взялся такой, малахольный ли, умом тронутый, толком никто не помнит. Своего пристанища, дома он не имел. Мешок за плечами — все имущество. Жил и кормился Степа в том доме, куда приходил работать. Жил, пока всю обувь не перечинит. На Степу-глухого была очередь, и в других домах уже ждали его и порой нынешних хозяев упрекали:

— Он вам пилы точит, а люди босые ждут.

Перечинив обувь, Степа собирал свои пожитки, шел в другой дом, никакой платы не прося.

Бумажными деньгами в ту пору игрались дети да старухи обклеивали ими крышки сундуков. Но Степа был «тронутым», и потому ему порой, может, для очистки совести, вручали за труды



эти пестрые бумажки. Он брал их на полном серьезе, складывал в кисет.

— Сколько денег накопил, Степа? — порой подсмеивались над ним.

— Чего? — не слышал ли, не хотел ли слышать.

— Сколь у тебя денег?

— Много.

— Ну, сколь?

— Сто тысяч и еще два раза, — такой был всегда ответ.

Одежда на Степе была поношенная, но всегда чистая, аккуратно заштопанная, петли обметаны, пуговицы крепко сидят. А заплатки подобраны и посажены — как влитые. Тут уж хозяйки одна перед другой старались.

Будь Степа помудрей, поразумней, он мог бы прожить и лучше, выбирая дома с достатком. Пусть хлебом богатых в ту пору сыскать было трудно, но были семьи, у которых всю зиму картошка не переводилась, кукуруза, тыква да свекла. Степа любил запеченную на легком духу тыкву, нарезанную кусочками, когда она, подрумнявшись, становится сладкой. Степину слабость знали. И в домах, где тыква водилась, прямо на рабочий стол ставили сковороду с кусочками оранжевой тыквы. Он работал и порой сладился, причмокивая.

Сапожному мастеру можно было прожить. Но Степа хозяев не выбирал, сытно живут или впроголодь; он шел, куда звали. И порою неделю-другую сидел на голых железных лепешках. В таких семьях обычно и детишек больше, и обувь — дыра на дыре. Всегда худой и морщинистый, тогда он и вовсе усыхал, зубы от желудей чернели, но не уходил, пока последнюю пару ношенных-переношенных чириков не починит. За это его уважали, называя порою святым человеком, какие не от земли, а от неба.

Очень любили Степу-глухого ребятишки. Для них начинался праздник, когда он приходил в дом. Сапожник открывал свой мешок, детвора возле него сбивалась.

На низенький столик, за которым работал, из мешка выкладывал Степа деревянные обувные колодки, сапожные ножи, вар, конопляную дратву. Возле столика валили горой старую обувь. Степа обглядывал ее, размачивал в корыте с водой. Готовил сапожные шпильки. Березовые кружки под его рукой ловко кололись на пластинки, потом заострялись. И вот уже тонкие шпильки-гвоздики сыплются из-под ножа. Для ребятишек разве не чудо?

А между делом для ребячьей забавы Степа-глухой нарежет пахучих деревянных кубиков да колесиков, тележку смастерит, вырежет острым ножом куклу, солдатика, игрушечное ружье.

Детишки возле него с утра до ночи кружатся, порою толкают, мешают. Но он их никогда не гнал. Все можно было трогать и брать на Степином столе. А малышам — забираться к нему на колени.

Степа никогда не смеялся, даже не улыбался, но в такие минуты он светлел лицом и шумно вздыхал. Говорили, что Степина семья, дети погибли ли, померли от войны, голода ли, болезней. Целые хутора тогда вымирали. Но толком о нем никто и ничего не знал. Степа, как все люди глухие, был молчуном. Отработает — и уйдет в другой дом, а то и на другой хутор. Подолгу ему не давали засиживаться, напоминая:

— Вы Степу долго не держите, он другим нужен.

И вот он пошел со двора. Мешок — за плечами. Детвора до ворот проводит, и все. Останутся деревянные игрушечные тележки да куклы и чиненая обувь — не страшны теперь грязь, холода.

А потом Степа пропал. Не видно и не слышно его. Стали спрашивать. Никто толком не знает. Последний раз был у Калмыковых, на хуторе Усуры. Оттуда ушел на Песковатку. Сам Калмыков его и перевозил через Дон на лодке.

Но в Песковатке Степу не видали. Не появлялся он и в рядом лежащих хуторах — Рюмино, Сокаревке, Вертячем.

Лишь осенью, на исходе лета, Степу нашли в Пйских. Видно, пошел он от Дона не кружной, торной дорогой, а напрямую, через Пйски. Такой вот белой дорогой, что тянется сейчас передо мной меж песчаных бугров. Прилег ли он на обочину или просто упал? И умер. Ни птица, ни зверь его не тронули. Так и лежал, пока не нашли его сухие мощи.

Где-то вот здесь он умер. Тут, в Пйских, и нынче безлюдье на многие версты. Ветер шуршит в сухом молочайнике, в острых листьях солянки. Вечный ветер. Осень.

Мне пора идти, возвращаться к воде, к займищу, где молодые мои спутники надергали окуньков и варят уху. Скоро вечер. Надо уезжать, прощаясь надолго — до следующего лета.

Какое просторное небо над Пйсками... Взглядом не окинешь. Глубокая, за жаркое лето выгоревшая синева, и перистые облака, словно белые каменистые гряды, тянутся из края в край.

Снова о Степе думаю.

А может, и вправду он был святым, каких посылает Бог на помощь в горькие годы. А если так это, то, оставив не тело, но мощи свои на белой дороге, в Песках, ушел Степа тоже белой дорогой, но иной, высокой. Вот она тянется по блеклому осеннему небу легкой перистой грядой, из края в край.

«Говори, мама, говори»

По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала: загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? замечательно! Тогда целую. Будь-будь!

Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди... Вопросов нет? Целую. Будь-будь!

А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.

Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.

Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванная где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг... онг-онг... Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.

— Кидаю умом, не накинута... — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навсего поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды... Рождество да Крещение. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.

Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.

Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.

— Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука. — Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жался. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство...

Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?

Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку жить. Вот и решила ехать на зиму к своим. Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюльки упрут.





Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся. Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — «мобилу». Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.

Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.

Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.

В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился «мобильный». И то слава Богу.

— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.

Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.

— Это что за страсть такая... — ворчала старая женщина. — Не телефон, свиристелка. Прокрукарекал: будь-будь... Вот тебе и будь. А тут...

А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.

— Мама, слышишь меня?

— Слышу, слышу... Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиньяка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козья. Это что за страсть? И к чему бы такое?

— Мама, — донеслось из телефона строгое. — Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.

— Прости Христа ради, — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.

Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей... И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшная морда.

Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.

Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.

Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сарай, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорожущий, его не укупишь.

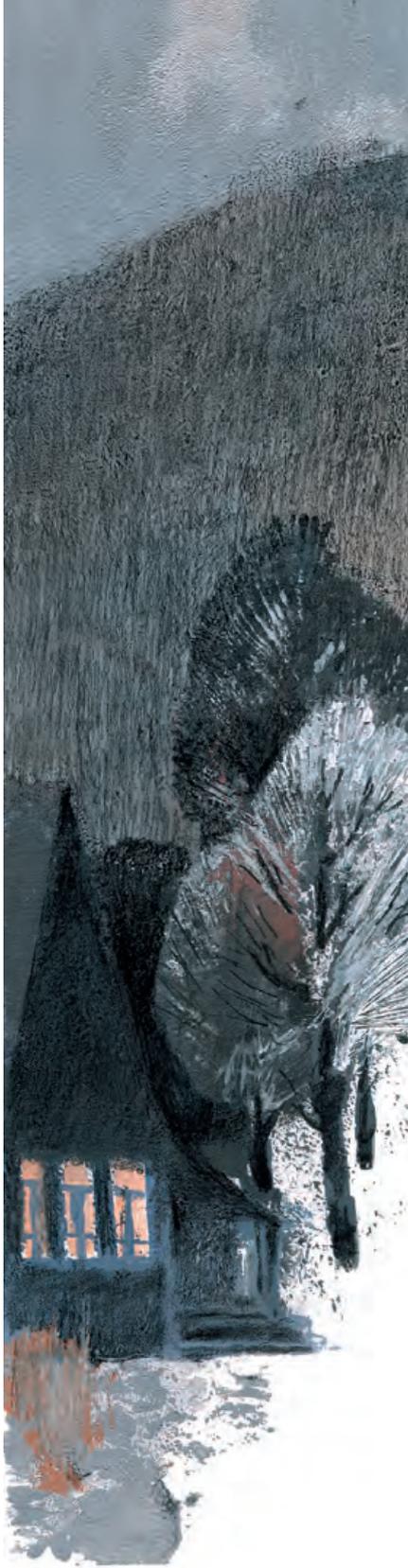
Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг... онг-онг... — слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расплзались по-рачьи, чураясь друг друга.

Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.

Неловко начался день, да так и пошел не в лад.

Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.

— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась, — пожаловалась она. — Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где... — подосадовала она. —



Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномьяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины...

— Мама, — раздался в телефоне далекий голос, — конкретной говори, что случилось, а не про сладимую грушину.

— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень... Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномьяска...

— Мама, говори, пожалуйста, конкретной. О себе, а не о черномьяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?

— Вроде бы не сломала, — все поняла старая женщина. — Прикладаю капустный лист.

На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: «Чего болит, не болит... Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади...»

И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.

В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:

— Болят ваши косточки?..

Так в пору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:

— Болят, моя доча...

— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.

— Спасу нет... Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят...

— Болит ваша спина... — мягко ворковал, словно заволаживая, женский голос.

— Заболит, моя доча... Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть... Такая жизнь...

Жизнь ведь и вправду нележкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.

Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк. Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: «Овечка глупая... Чего ревешь?..» Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.

И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:

— Доча, доча... Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки... — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча...

Издали, через многие километры, донесся голос дочери:

— Говори, мама, говори...

— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка... Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину наовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча... Опять я не то плету... Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..

В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.

— Говори, мама... — просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. — Говори, мама, говори... ♣.

Рисунки **Наталии Кондратовой**